

Глеб Алексеев

# Мария Гамильтон



Глеб Алексеев  
**Мария Гамильтон**

«Public Domain»

1933

## **Алексеев Г. В.**

Мария Гамильтон / Г. В. Алексеев — «Public Domain», 1933

«Это было в дни, когда вернувшийся из заграничного бегства Алексей на Верховном Суде в аудиенц-зале кричал в лицо царю: «Велик ты, Пётр, да тяжёленек, злодей, убийца и антихрист! Проклянёт бог Россию за тебя!» – в дни, когда древняя, в горлатной шапке, в охабне, разбойничья, раскольничья, бородатая Русь лицом к лицу стала перед царём, проклиная его проклятием сына. В эти дни в Питербурх со всех сторон государства везли в кибитках, гнали по трактам увязанных в колодки по двое, по трое – десятками, сотнями, тысячами свидетелей, участников, их родственников, их свойственников, их друзей и врагов, виновников «слова и дела» государева...»

© Алексеев Г. В., 1933

© Public Domain, 1933

# Содержание

1	5
2	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

# Глеб Васильевич Алексеев

## Мария Гамильтон

*Страсть любовная, до Петра I почти в грубых нравах неизвестная, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло.*

*Князь М. М. Щербатов «О повреждении нравов в России».*

### 1

Это было в дни, когда вернувшийся из заграничного бегства Алексей на Верховном Суде в аудиенц-зале кричал в лицо царю: «Велик ты, Пётр, да тяжёленек, злодей, убийца и антихрист! Проклянет бог Россию за тебя!» – в дни, когда древняя, в горлатной шапке, в охабне, разбойничья, раскольничья, бородатая Русь лицом к лицу стала перед царём, проклиная его проклятием сына. В эти дни в Питербурх со всех сторон государства везли в кибитках, гнали по трактам увязанных в колодки по двое, по трое – десятками, сотнями, тысячами свидетелей, участников, их родственников, их свойственников, их друзей и врагов, виновников «слова и дела» государева. Давно и досыта набиты тюрьмы, а очные ставки всё умножают очные ставки, и в застенках не хватает верёвок и топоров. Запамятованное одним, скрытое болью, когда пилилась нога, или всё тело, вытянутое дыбой, готово было лопнуть, как перезвеневшая струна, – вспоминается другим и третьим и десятым – на дыбе, на огне, на виселице, под взмахом топора, который ещё осмеливается блеснуть на солнце. И вот первого снова вздымают на дыбу, и по спине его, прорванной клочьями загнившего мяса, снова хлещет верёвка, вырывая новое признание – о четвёртом, о пятом, о шестом. А пятый, задавленный петлёй, ведёт на плаху седьмого, а шестой, взятый в кнуты, обзывает новых пятнадцать. Двадцатую фамилию прошептали синие, скоробленные губы умирающего. И двадцать первую! И ещё одну! И ещё! Кого же? Врага, с которым давние счёты. Личного своего обидчика, – пусть и он изведает силу царёва кнута. А может быть, соседа? Даже близкого. Но чтобы отпустили хоть сейчас! Хоть на сегодня! Хоть на минуту! Нет! Никому пощады нет! Всех сюда! Жену, брата, сестру, вчерашнюю любовницу, всех, кто видел, кто слышал, кто не осмелился видеть и слышать, всех, кто посмел догадаться и кто догадаться не посмел. В застенки! Да постойте же! Ни капли не осталось сознания, кровь выцежена из этих обвисших освежеванными тушами тел, смертью схвачены их глаза – и сами они не знают, что говорят. Постойте же! Шатается застенки, дыба устала, кровавым потом вспотели палачи, кидают в угол измочалившуюся верёвку, кидают в угол иступившийся топор. А люди всё идут и идут на муку. И жизнь всё идёт и идёт, не узнавая сегодня тех, кто был ей нужен вчера. От друзей царевича Алексея простёрся кровавый след до собственных друзей императора, до князя Якова Долгорукова, до графа Бориса Шереметева, до Баура, до неудачливого навигатора Голицына, до Стефана Яворского, до Иова Новгородского, – да что Стефан и Иов, если сам князь-папа Ромодановский, сам светлейший Меншиков – брошены на подозрение.

... Проснувшись в четвёртом часу утра, когда дрянненький питербурхский рассвет, которому, казалось, никогда и не родить дня, обмазал молочным киселём окна, Пётр опухшими и со сна простодушно-добрыми глазами с минуту смотрел на узорчатые городки муравленой, с утра жарко натопленной печи. В нос шибало гуляфною водкой, какую подливали в печь для духу, на языке налип колтун после вчерашнего канупера и «большого орла», хваченного на ассамблее у Алексашки, а тесноватый, в затейливо голубую кромку ночкой колпак слез на бровь и натёр лоб до боли. Отхаркнув в угол утреннюю дрянь, Пётр кивком головы обронил колпак

и приподнялся на локтях: по утреннему этому его знаку дежурный денщик мчался с рюмкой анисовой, и – царь начинал утро. Но в комнате было тихо, насморочный сквозняк, подувавший от незамазанного окна, колыхал натянутый под потолком тент; ожидая денщика, Пётр поднял глаза на провисшую перину тента, на которой за ночь пробились жёлтые капли испарений, и в момент этот ощутил бередливое, будто от щекотки, беспокойство. Это беспокойство овладевало им всегда, если забывал он о нужном, о чём, проснувшись, надлежало вспомнить в первую же минуту. Опершись о кровать, он встал на ноги, пошёл к окну, чуть сторбившись – той неправдоподобной, ныряюще-косолопой, на всю ступню походкой чужеземного моряка, каковую всю жизнь старался в себе выработать.

Кисельный рассвет вяло растворялся над городом, и сквозь слюду окна новая мостовая казалась в нём наспех размазанной чёрной икрой. Десятка два пленных шведов мели главную першпективу большими, не в рост им, метёлками. У парапета каменной набережной, где в утренне оживающей зыби крутились пришвартованные шлюпки, верейки и ботики, распаковывали ящик с венецианской беседкой из алебастра и мрамора, о которой царь хвастливо сказал на вчерашней ассамблее нагловатому голландскому шкиперу, обыгравшему его в шахматы: «Вот проживу три года – буду иметь сад лучше, чем у французского короля в Версале». Из переулка браво выскакала на першпективу коляска с офицером, но того, как шведы стали во фронт, будто по команде «мушкет на краул», поджимая мётлы к животам, царь не заметил: он вспомнил, наконец, то, что обеспокоило его ночью.

– Орлов! – сказал Пётр хрипловатым басом, но в голосе его не прозвучало зова, – так мог бы сказать он всякое другое слово. Ожидая, он отошёл к столу, на котором лежали долота, бумаги, клистирная трубка, карандаши, циркули, зубные щипцы, и потянул корректурный газетный лист, который до выпуска обычно подписывал сам. Прикрыв рукой чуть-чуть задёргавшийся правый глаз, чтоб не мешал читать, Пётр скользил взглядом по первой странице, прочёл о том, что «на Москве за прошедший месяц родилось мужеска и женска полу триста восемьдесят шесть (386) человек», и что «индейский царь послал в дарах Великому Государю Нашему слона и иных вещей не мало», поправил в слове «Царь» большую букву на маленькую, и опять голосом громким, но без зова, сказал:

– Орлов!

Однако в соседних покоях было по-прежнему тихо.

Пётр швырнул газету на стол: он не любил и не умел терять время, а главное – то, что вспомнил он, не терпело отлагательства: дела о доносах, да разве ещё кораблестроение он не откладывал никогда, полагая, что всё остальное может подождать. И сейчас его сердила не пылкая нерадивость денщика, который, раздев на ночь государя, удрал, должно быть, пьянствовать, а то, что он, Пётр, должен ждать. В соседней комнате виновато скрипнула дверь, но, не дожидаясь пока войдут, царь кинулся к постели и сбросил подушку на пол. Под подушку обычно укладывал он на ночь свой сюртук, в карманы которого набивались за день бумаги, донесения, указы, письма. Вытащив сюртук, он обшарил карманы, разыскивая донос Орлова «о слове и деле государевом», какой вчера ночью, раздевая, подал ему Орлов, но доноса в карманах не было. Не иначе – Орлов спохватился и украл свой донос. Мундир из руки царя скользнул на пол, а лицо задёргалось в судороге, кривившей всю правую сторону лица, как будто он озорно и страшно подмигивал. В беспамятстве, какое овладевало им в гневе внезапно, как припадок – Пётр шагнул к двери, чтоб пойти самому в караульную, на улицу, в сенат, по пути к доносу, как дверь отворилась, и на пороге обозначился дежурный офицер в зелёном, с красными отворотами, преображенском мундире. Офицер вытаращил от страха ничего не видящие глаза и гулко, как в бочку, отрапортовал, что дежурство денщика Орлова кончилось ночью, когда его величество изволил уснуть, и что посланы караульные, чтоб отыскать и доставить. У офицера было белое, будто мукой обсыпанное лицо, а вытаращенные глаза казались

вываренными, и, скользнув по ним взглядом, Пётр понял, что невозможно, чтоб желание его не было исполнено, и, от этой мысли успокаиваясь, сказал, почесав под мышкой:

– Сорочьего порошку, рюмку анисовой и рапортовать извольте: кто есть для доклада?

– Князь Голицын пришёл из Голландии, Салтыков Фёдор, герцога голштинского камергер Берхгольц, вашего величества... – с любовной чеканностью, как с детства затверженную молитву рапортовал офицер, расправляя грудь, готовую разорваться от счастливого сознания, что на сегодня грозу как будто пронесит мимо. Утреннего гнева царя, особенно после ассамблей, боялись как грозы: многим в государстве утренний его кашель стоил головы.

– Постой, постой, – перебил царь, – Голицына впусти, пока не найдут Орлова, остальным соблюдать сиянс...

Офицер подался назад, выпал за дверь, и тотчас, будто он ждал за дверью, в комнату ступил человек лет тридцати-тридцати трёх, щёгольски выбритый, в алонжевом парике копной, в камзоле цвета негустого шоколада и в чёрных шёлковых чулках, заправленных в очень тесные, должно быть, жавшие башмаки. Войдя, Голицын подогнул колени, чтоб опуститься на пол, памятуя царский указ о почтении, но Пётр крутым, протыкающим движением большого пальца остановил его, подошёл вплотную, стая поворачивать, вертеть его как манекен, обсматривая со всех сторон: пощупал сукно на новом немецком кафтане, с торчащими, тугими, как стекло, фалдами на проволоках, opravил поплывший на запотевшем темени парик, погладил толстую княжескую ногу, обтянутую в чулок.

– Чулок отменный, – сказал, наконец, Пётр, – за такие чулки шёлковые аглицкие плачено мною было полвосемь гульдена.

Но тотчас отскакивая от своих слов будто от бугра, заговорил в упор, дыша на Голицына смрадом созревшей водки.

– Известны ли вам, князь, статьи, коими по указу нашему 11-го генваря велено было недорослям ехать в европейские государства для науки воинских дел?

Удивленный внезапностью вопроса, князь поднял глаза на царя, но, уколотившись на единственный его левый глаз, который как бы смотрел за два, когда лицо Петра кривилось судорогой, подумал о том, что он пропал и пропал беспощадно.

– Известно, государь.

– А ведомы ли вам чертежи или карты, компасы и прочие морские признаки?

– Ведомы, государь.

– Зер гут, ваше сиятельство, – усмехнулся Пётр, – а владеешь ли судном в бою? – голос Петра всё повышался, всё рос, чтоб дорасти до пронзительного, бьющегося дисканта. – Искал ли быть на море во время боя? А ежели не случилось, искал ли с прилежанием, как в то время поступать? Зер, зер, ваше сиятельство, гут, однако не вами ли писано велико желание простым на Московии солдатом быть, понеже все дни живота наукой утрудили?

– Государь! – воскликнул Голицын.

– Постой, если я говорю! Пишешь, что кроме природного языка никакой не можешь знать, и лета ушли от науки, и на море тебе некоторыми силами быть невозможно... А про то ведаешь, что я до юношества не только моря, лужи боялся? Про то ведаешь? – переспросил он, приближая своё лицо, перекошенное судорогой, к перекошенному страхом лицу Голицына. Защищаясь, Голицын поднял руку к горлу, будто сдавила горло петля смешанного с отвращением страха. Он хорошо знал пункты, какие писая царь комиссару князю Львову о 34 недорослях, определенных в «навигацкую науку»; в пунктах этих «безо всякие пощады превеликое бедство» сулилось тем, кто науки не одолеет.

– Государь, – воскликнул Голицын, улавливая, наконец, царскую паузу, – в те дни пришёл я в сомнение и печаль, видел в себе, что положенного курса навигацкой науки не управлю, паче натура моя воистину не может снести мореходства...

Сказав, Голицын посинел от ужаса за произнесённые им слова. Много прощал Пётр, а боязни к морю не прощал.

– Денщик вашего величества Орлов найден и доставлен в караул, – крикнул с порога дежурный офицер так громко, как, вероятно, вахтенные блуждающих кораблей «кричат землю».

Пётр усмехнулся – то ли гневным своим мыслям, то ли случаю, миловавшему Голицына, – сказал безразлично:

– Ваше сиятельство, от отцов и дедов титул имеете... Но, ваше сиятельство, помни, – титулы из моих рук даются и за качества, не гусям присущие, кое, как ведомо нам, Рим спасли, за качество, личной, особой натуре присущее, могу я булочника посадить в сердце выше нерадивого княжеского недоросля... Ступай, ваше сиятельство...

Голицын упал на колени; чёрный шёлковый чулок, неприспособленный к русским законам почитания, треснул по шву. Царь, оборота руку ладонью, протянул её Голицыну для поцелуя. Коснувшись губами руки, Голицын ощутил твёрдую копытью ладонь с мозолями, пахнувшими табаком, и жёлтые пальцы с обломанными ногтями.

– Видишь, – сказал Пётр, – я хоть и царь, а на руках у меня мозоли, а всё оттого, что хочу показать вам пример и хотя бы под старость видеть достойных помощников и слуг отечеству...

И, тотчас забывая о Голицыне, которому он сказал всё, и переставая его видеть, Пётр приказал позвать Орлова.

## 2

Иван Орлов пропьянствовал всю ночь с Сёмкой Мавриным да с двумя голландскими полшкиперами, и часу в шестом утра, когда кумпания еле расползлась, выбрал на большую перспективу, раздумывая над задачей: когда пойти к Марьюшке? Сейчас, – как будто ещё рано, позднее – встанет императрица, и всех девок покличут на верьх. Облёванный полшкипером в припадке дружбы мундир его был расстёгнут, а душивший темя парик он снял и сунул в карман. Вихляя из стороны в сторону, цепляясь за деревья, плохо принявшиеся в болотной почве, пожухлые, в скоробленных, будто прожаренных листах, – Орлов икал от перегара, какой шибал в голову не хуже немецкого мушкета. В домах перспективы с великолепными, как на подбор, резными воротами, на стиле которых отразился весь маршрут поездки царя за границу, уже просыпалась неторопливая, несмотря ни на что уважающая себя русская жизнь. Вот вышел отворить ворота жилец в длиннополом охабне с бородой, запрятанной в поднятый по самую маковку воротник, но, увидев офицерский мундир, завалился назад в ворота, и Орлов слышал, как щёлкнула увесистая щеколда. Прошли два финна, пролопотали непонятное. Дородные кони в серебре медленно, будто напоказ, протащили экипаж знатного вельможи, впереди лошадей бежали фореиторы, кричали предупреждающими басками: «Эй! ей! ей!» – хотя на пути им не было никого. Немецкий булочник приоткрыл форточку, и в форточку обозначилась отменно похожая на только что взошедший хлеб голова. На плацу уже началось учение преображенских фузилёров, шеренги шли с такой отчётливой ровностью, что Орлову издали показалось – идут всего два человека. Адмиралтейских рабочих, видимо, уже прогнали, – простонародные кабаки опустели, и бочки с полпивом уже были обвешены зипунами, дерюгами, шапками, кафтанами, какие оставлялись в заклад и выкупались на обратной дороге домой. Увидев пиво, Орлов ощутил жажду, порылся в карманах и не нашёл в них ничего, кроме медной мелочи. Тогда он опять подумал про Марьюшку. Сегодня поутру она обещалась, наконец, дать десять червонцев, какие взялась выпросить у царицы. Орлов вспомнил лицо своей и вчерашней любовницы царя, нарумяненное густо, как требовала придворная мода, с затейливым рисунком дерева из чёрных мушек пониже виска, столь нежного и нервного, что даже сквозь пудру проступали бьющиеся синие жилки. Эти навсегда девичьи, пленительные своей беспомощностью жилки, столь непохожие на дородные лица придворных девок, её легкая, как бы взлетающая походка, её руки, столь нервные, что, казалось, пальцы вот-вот заговорят, и белый с некрашенными зубами рот, за которые модницы с выкрашенными зубами обзывали девку Марьюшку обезьяной, пленили некогда Орлова, как, должно быть, и царя, своей необычностью. Что говорить! – отменная девка, зело вредная девка! С виду поглядеть – ухватить не за что, а сколько силы заключено в маленькой этой женщине с ухватками девчонки и с любовной ненасытностью вдовы! Кто лучше её на всём царицыном верьху умеет разговаривать мушками, крохотной мушкой в углу рта ободрить нерасторопного любовника к поцелую, мушкой у виска обозначить страстность, неприступность – мушкой на лбу, скромность – на нижней губе? Кто звончее смеётся на ассамблее, легче танцует, жарче целует, да так, что поцелуем не напиться: пьёшь всю ночь, а под утро жалеешь, что ночь коротка, как вздох? Не даром весь двор восхищается ею, как дорогой нездешней игрушкой. Недаром сам светлейший Меньшиков! Да что Меньшиков, если сам царь...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.